

ДОН КИХОТ

Рассказ

На массивном кресте черного мрамора устрашающие слова о королевском инквизиторе:

«Здесь покоится Дон Педро Хуан Сантапавел, сжегший двенадцать тысяч еретиков и евреев во имя господина нашего Иисуса Христа и двенадцати апостолов. Благословенна земля, где лежит Дон Педро. А вы, неверные, бегите, бегите отсюда, ибо драгоценный камень гиацинт имеет, свойство отгонять чуму».¹

В склепе знатной дамы, оставившей земные радости в расцвете лет, плачет белый мраморный ангел - крылья ангела сломаны.

Могилы крестьян и ремесленников обнесены грубыми камешками, собранными в долине и на холмах.

Надписи на камнях изобиловали запоздалыми признаниями в любви и примирении, прославлением добродетелей умерших, болью невосполнимых утрат.

Последняя пристань моряка—на глыбе камня, зеленоватого, как утреннее море, высечены нос и паруса каравеллы, под ними выразительный, самый сладостный для мореходов возглас: «Земля!».

Над усыпальницей епископа отчеканено в меди:

«Умер я, ничтожнейший из людей, воспитанник короля Фердинанда, воспитатель императора Франциска. Так захотел я, ибо пора мне. Я был таким, как вы, — вы будете такими, как я. Святая Дева да не оставит вас».

Дон Мигель останавливается у могилы бедного идадьго. Он уходит сюда, когда крикливая брань домашних выбивает его из седла. Раньше, при луне, здесь он сочинял сонеты на манер рыцарских, вызолачивал в стихах паутину

волос жены и торжественно нес своей единственной рукой пышный шлейф ее недостатков. Теперь недостатки исчезли вместе с женой, бежавшей с каким-то молодцом.

Вылинявшая синева неба, тягучий ветер, безотрадные засолевшие холмы окружали зеленый островок кладбища с могучими пробковыми дубами. На выжженной солнцем равнине устало махали великанскими руками ветряные мельницы. В полынной горечи застыли чахлые деревца и кустарники. По дороге медленно плелись на мулах и ослах запыленные путники—купцы, солдаты, бакалавры, священники. Долетали слова и смех. Глядя на них, Дон Мигель обретал душевный покой и хорошее расположение духа, которое Демокрит называл смыслом жизни. Слушая соленые шуточки и рассказы путников, однурукий поэт, пытавшийся сохранить рыцарское достоинство испанского дворянина в любой передрыге, забывал о своем бедном доме, где редко гостили сыр, вино, эскудо и мараведи.

Читая надписи на могильных камнях, он сочинял и себе надгробные эпитафии—то как эпитафия к будущей жизни, то как эпилог к бесславно закончившимся земным странствиям.

Вот и провалившаяся могила обедневшего идадьго, потомка древних правителей Ламанчи. Здесь Сервантес сидит подолгу в тени оливы, на буром железистом камне, которому ваятель придал, сколько мог, форму щита. Надпись:

«Успокоился рыцарь бедный и справедливый Алонсо Кихано Добрый».

Он не был ни королем, ни полководцем, ни князем, по получил прибавку к имени—Добрый. Дон Мигель с детства

помнит прямодушного идалго, который вставал с зарей, был заядлым охотником, гонялся с борзой за пернатой дичью по скудным полям. Под старость тощий и длинный Алонсо Кихано проводил время, читая книги, полируя камешком поржавленный меч и склепывая латы.

Он довольствовался бобовой похлебкой с кусками говяжьей печенки поутру, винегретом и кружкой кислого вина вечером, в воскресенье добавочно ел голубя. Имел дом, костяное копье, два камзола, пять ослят, три кобылы, ключницу и работника, хитрого толстяка, перерывшего всю округу в поисках мавританского золота, — ходили слухи, что изгнанные в Берберию мориски, насильственно обращенные в христианство мавры, зарыли свои сокровища в испанской земле, чтобы по истечении времен вернуться на старую родину. Из небогатых урожаев родового надела идалго помогал беднякам, помня о своем происхождении, чинил правый суд в деревне, хотя не был ни судьей, ни алькальдом.

Иногда его называли дурачком, с сожалением глядя, как он запустил свои земли ради двух-трех зайцев, поселившихся там. Маэсе Николая утверждал, что Алонсо Кихано свихнулся и принимает за зайцев пару одичавших кроликов.

Много ли, мало ли износил башмаков добрый идалго, но добрел до последнего привала, где не слышно звука охотничьих рогов и шелеста оливы на заре.

Помнят ли его сельчане? Поминают ли в молитвах?

Племянница идалго, старуха, давно не ходит на могилу, заросшую, как на диво, чудесными одичавшими розами, вывезенными из Палестины триста лет назад.

А кто придет на могилу Дона Мигеля?

Много ли добра сделал он за полвека?

Делать доброе он стремился всегда, но что получалось из этого. Страсть к путешествиям, далеким землям,

фантастическим островам, где разгуливают ручные павлины в золотых колпачках и люди, как в раю, живут без одежд и смятений, гнала Дона Мигеля по морям и странам. Впоследствии он посмеется над этими островами Санчо Пансы, нарисованными горячим воображением капитанов, купцов, искателей приключений, золотых и алмазных россыпей.

Считая, что он родился под знаком Марса, Дон Мигель стал военным. Отстаивая славу и права знатных сеньоров, он лишился в бою руки, не говоря о других ранах, колотых, рваных, огнестрельных.

А много ли пользы от этого людям и ему? Много ли звонких дублонов привез он отцу с войны? А вернее сказать, разве мало их пошло на то, чтобы выкупить его из алжирского плена, и один бог знает, какой ценой отец, брат и сестра добыли эти дублоны. После этого позволительно спросить: добрые ли дела творил Дон Мигель де Сервантес, если они оборачивались для родных и близких бедой и тяжестью? Но больше всего он страдал сам.

Вступаясь за оскорбленных солдат и матросов флагманской галеры неаполитанского флота «Волчица», он попал в карцер.

Спасая молоденького новобранца от грубых насмешек, он в конце концов горестно процитировал блистательного Саади: «Всех, кого стрелять я научил, потом мишенью сделали меня», ибо новобранец вскоре сдружился с насмешниками и сам смеялся над Сааведрой.

Знойной африканской ночью услышал он крики о помощи у городской стены и поспешил туда. Бородатый коричневый мулат насилует чернокожую девчонку с маслянистыми глазами и выпяченной грудью. Поборник добра, защита угнетенных, пленник сам,

Сервантес дубасил мулата единственной рукой. Девчонка тоже схватила палку и обрушила ее на голову... защитника. Рыцарь справедливости плюнул и пошел

прочь. Но закричи девчонка опять—и он мигом придет на помощь, столь благородно рыцарственное сердце.

Дважды сидел он в тюрьме Севильи—за добрые дела. Случилось так, что он помог преступникам, не ведая об их занятиях. Они жестоко посмеялись над ним, показав как на соучастника их темных дел. (Так и Дон Кихот освободит каторжников, которые изобьют и ограбят его).

Добрых тридцать лет пишет он назидательные новеллы, романы из жизни великих рыцарей прошлого, комедии и романсы. Старается этим угодить сильным покровителям, исправить зло, творимое в Испании, указать соотечественникам правильный путь.

Каждое слово давалось с трудом. Редкая энциклопедичность знаний приобретена кровавой ценой потери здоровья, любви, дружбы, семейного очага. И что же? Какой-то надушенный кавалер, красавец, баловень судьбы, юноша Лопе де Вега в антракте между двумя поцелуями и стаканом вина пишет блестящие, изумительные поэмы и комедии, получая в награду славу, мешки дукатов, любовь красавиц. Мало того, Лопе сделал и духовную карьеру — стал служителем инквизиции, а потом и священником.

Дон Мигель де Сервантес почти неизвестен, перебивается подачками, заработал литературным и военным трудом столь мало, что и говорить неприлично. Не раз его называли нахлебником, не умеющим жить и богатеть. Рассуждает о высоких материях, а сам служит у дворян, переписывая их любовные послания и хозяйственные отчеты.

На склоне лет он готов признать: его творениям далеко до искрометного творчества всеобщих любимцев Луиса Бараона де Сото, несравненного Лопе, великого Гарсиласо де ла Вега, не говоря уж о титанах музыки древности, ставших вечным примером для всех поколений. И если допустимо так выразиться, игральная кость жизни упала перед тем же Лопе алмазной выигрышной гранью, а перед

Доном Мигелем пустой глиняной стороной — ни таланта, ни богатства, ни удачи.

Зелень и фонтаны Гранады, дворец Альгамбры с розами, гаремом и вином — вот колея кастильца Лопе.

А путь Сааведры пуст, бесплоден и сух, как горячий ветер над каменистыми пустошами Ламанчи. Правда, временами тут проносится океанский ветер, незнакомый кипарисам и гранатам Гранады. Он приносит влагу и озарение молний, которыми дышит все живое.

Толедская синагога, эскуриал в Мадриде припудрены бискайской пылью, стоят на камнях Кастилии.

Гранада—это королевские приемы, изнеженность, расслабляющая томность, ароматы и пресыщение.

Ламанчские холмы, долины и реки Кастилии поставляют Испании, владычице морей и миров, суровый крестьянский хлеб, воинов ордена Калатравы, погонщиков, поэтов и ученых.

Тень могильной оливы переместилась. Сидя на горячем каменном щите усопшего рыцаря, Сервантес продолжал развивать мысли о том, что ни себе, ни другим не принес пользы.

Пожалуй, можно уже подумать о надгробии себе. Только что изобразить на нем? Здесь лежит человек, который пытался исправить мир, получал за это одни оплеухи, признал себя идиотом, перед смертью прозрел и умер как мудрец? Да, именно: жил как безумец, а умер как мудрец!

Хорошо бы высмеять все эти добрые порывы — мало проку от них людям!

Но раньше надгробия надо сочинить завещание. Состояние Дона Мигеля невелико, и завещать его некому — кому нужны десятка четыре потрепанных рыцарских романов, которые он страстно любил. Они давно кажутся ему нелепыми, устаревшими, безжизненными. Высмеять заодно и их в пародийном сочинении, а ведь ничто так хорошо не высмеивается, как предмет бывшего обожания, — грешил же он когда-то сам по этой части.

Кажется, ясно всем, что никогда не было таких необыкновенных подвигов, о

коих повествуют авторы романов, хотя он, Сервантес, знал людей, умеющих держать и меч, и аркебузу.

Волшебники, заколдованное оружие, парящие в воздухе замки, драконы святого Георгия — целый арсенал нелепостей, над которым роится в голове Дона Мигеля неменьший арсенал насмешек.

Вдруг это придется по вкусу все-сильному герцогу Бехарскому или вельможному графу Лемосскому — и они отсыпят из своих сундуков немалую толику золотых султанов сочинителю!

А героем взять простака дядюшку Кихано с его привычками, занятиями, добрым и вспыльчивым нравом правдолюбца, с детским характером влюбленного. Пригодится и его работник, здоровый малый, помешавшийся на мавританских кладах, как сам автор некогда на фантастических островах, которыми собирался править в лазури полуденных стран.

Понятно, не о дядюшке пойдет речь. Не только о дядюшке. Собственно, он расскажет о своей жизни, только это останется тайной для всех, а со временем могила надежно скроет эту тайну.

Тут уместно применить давно задуманный, редкий, новый тогда прием — выдать книгу как рукопись, найденную где-нибудь на толкучке, в листы которой заворачивают фиги или слабительный порошок. Автором рукописи указать араба, мавра, язычника, который как враг христиан и хотел бы оболгать душу странствующего рыцаря, да не в силах, ибо великую душу поселит он в тощем теле рыцаря Печального Образа.

Себя числить переводчиком и отчасти редактором рукописи.

Использовать в книге множество своих рукописей — любовных новелл, никогда не публиковавшихся, лучшие куски из неоконченных повестей, отдельные изречения и сравнения, наспех записанные на страницах рыцарских романов, выписки из греков и римлян...

Ибо такой сюжет, пародирующий походения благородного рыцаря, вместит все, что автор захочет сказать о

жизни, смерти, любви, о прошлом, будущем, о королях, пастухах, идальго, солдатах, философах и бродягах, чтобы смеяться над глупостью, клеймить порок и плакать над героической тягой к подвигам во имя человечности и мира в оливковых рощах.

Вставить давно написанное в форме трактата рассуждение о ратном труде. О поэзии. Об университетах.

Не забыть и свои сонеты, так и: не пригодившиеся никому.

Рассказ алжирского пленника тоже написан вчерне — упомянуть там «некоего Сааведра — рассказ о подвигах этого солдата показался бы... занимательным и удивления достойным».

А уйма народных романсов, пословиц, поговорок, обиходных выражений, которыми так и сыплет язык оруженосца рыцаря! Бездонный океан народной речи, еще не записанной литературой. Пора вернуть эти сокровища народу.

Смех, юмор, улыбка — главные краски этой эпопеи. Автор сам не может удержаться от смеха, вспоминая или воображая причудливые словопрения двух умнейших людей, рыцаря и оруженосца, свихнувшихся один на подвигах, другой на богатстве и почестях.

Сервантес обладал самым замечательным литературным талантом, какие только встречаются в земной природе, — трагическим с молниенными прорезами смеха и сочными жилами эпической красочности.

В таком сюжете и полакомиться не грех, возместить описаниями то, чего не было в жизни. Начать хотя бы с перечисления запасов тощей суммы Санчо Пансы, с трактирных ужинов, обедов в богатых поместьях, а потом перейти к тому молоденькому бычку на вертеле, в брюхо которому защиты двенадцать маленьких поросят, чтобы мясо бычка, стало нежнее и ароматнее.

Тут же, на какой-нибудь сельской пирушке, щедро развешать прямо на деревьях бараньи туши, освежеванных зайцев, ошипанных кур, вялить битую птицу и всевозможную дичь. Описать котлы с наваристым бульоном, в котором

гуси плавают как клецки, а уполовник сделать побольше, чтобы захватывать побольше этих самых клецок. Навалить сыры, как кирпичи. Одним росчерком нарисовать румяные холмы белого хлеба, чаны с солнечным маслом, тесто, жареное и брошенное циклопическими лопатами в бочки с медом. Тут не обойти и громадные из козьих шкур бурдюки с вином, сплошь оказавшимся превосходным. А разве даром открывал Индию адмирал Колумб? Пусть тут пахнет черным перцем, тертой гвоздикой и корицей. Словом, пир горой для бедных поселян и автора, который ценит звон, цвет, вкус и аромат слов не менее того, как ростовщик — звон дублонов.

Он знает пиршества римлян, видел полотна фламандских художников, сидел на одном обеде с Рубенсом, читал «подлинные и ужасающие хроники» о королях-обжорах Франции, но заимствовать у них ничего не будет — прост стол испанского крестьянина, а камзол верблюжьей шерсти, суконные штаны и кожаные прововощенные башмаки — вот наряд идальго.

Однако не забывать и того, что испанцы, как и все народы, любители хорошо выпить, плотно поесть и нарядиться в атлас и бархат. Только все хорошо в меру. Растут же на серых полях Кастилии апельсины, но они не сплошь покрывают черствую почву, а зеленеют и золотятся приятными для глаза островками. Так и словесные пиршества, как и образы, сравнения, мудрые изречения, хороши лишь время от времени, оживляя всю ткань произведения и заставляя ее переливаться новыми оттенками.

Искусства, религия, судопроизводство, брачная жизнь, знатность, нищета, мораль — все должно найти место в романе, ведь все это так значительно в жизни, единственного источника литературы.

Как в приключенческом морском романе, пусть в глазах свищет ветер над солеными брызгами моря, в тумане скользят паруса, скрипят уключины фелюг с беглецами, еще не распилившими

кандалы на ногах.

И пусть, как в плутовском, модном романе, будут смешные и забавные, нелепые и поучительные — «улаждая, поучать» — похождения доброго сумасшедшего рыцаря, отставшего на пятьсот лет от своего времени, с рассказами и приключениями на постоянных дворах и в феодальных замках, с актерами, ослиами, львами, слугами и бурдюками красного вина, с водяными мельницами, сукновальнями и случайно оказавшимися рядом знатными дамами и кавальеро.

Герой даст себе производное имя — от простого и доброго к смешному и высокопарному.

Так он, Сервантес, сам зеркало странствующего рыцарства, получит, наконец, от своих походов пользу, смеясь над своими прошлыми безумствами. Теперь это поправит его денежные дела. (Еще он не знает, что не сумеет осмеять высокие категории античной, рыцарской и библейской культуры. Еще он думает, что нива его бесплодна и что теперь он пожнет на ней тучные колосья тем, что забросает ее камнями насмешек и будет награжден и отмечен сильными мира сего).

Еще он напишет, в титульном обращении к герцогу, что его книга «по своему благородству не унижается до своекорыстного угождения черни» и буквально на следующей странице обратится к этой черни, далее пояснив, что чернь — это и графы и князья, если их тупость превосходит титул и положение.

«Арабский «собака-автор» с достоинством отметит в «Прологе», что «после стольких лет забвения», «с тяжким грузом лет за плечами» он выносит на суд публики «сочинение сухое, как жердь», «единственная цель которого — свергнуть власть рыцарских романов», «разрушить их шаткое основание».

Однако его единственная рука, впитавшая гениальность тысяч умов, посмеялась над автором, любовно нарисовав образ лучшего из людей.

Трагикомическое сопутствовало Сааведре. Размышляя над звездной красотой

мироздания ночами, он днем перебеливает трактирные книги виконта Бургильосского, подводя итоги израсходованной соломы, пива и требухи.

Ему не стоит особого труда писать диалоги рыцаря с ключницей и племянницей, ибо и его самого родные называют помешанным дурачком, припадочным.

Однажды он не досчитался листов в рукописи—их сожгли, как он почувствовал острым нюхом. Ну что ж, пусть и книги рыцаря пройдут через аутодафе, пусть их сожгут домашние Дон Кихота вкупе с попом, впрочем, умным и хорошим человеком.

Жестоко расплатившийся за благородные порывы молодости, Сервантес вожделенно спешит закончить роман — и старость его будет обеспечена, в этом мире за смех платят лучше, чем за слезы. Его непрактичность и нерасчетливость окажутся самым мудрым расчетом.

Вперед, Россинант!

Да погоняй же ты серого, Санчо, еретик, предатель, вымогатель, золотая душа, столь же рыцарственная, как и у Дон Кихота, только вывороченная наизнанку!

Но писать коротко и наспех не приличествует истинному писателю. Пусть Лопе де Вега написал уже полторы тысячи пьес — Сервантесу спешить не надо.

Поэтому годы и годы отделяют замысел от воплощения.

Беды и огорчения принесла Первая часть книги. Тупоумие Святого братства усмотрело в ней вред, а суровость испанских законов переходит в свирепость.

Награду автору герцог-покровитель отложил до выхода Второй части.

Ко всему прочему какой-то пройдоха из Арагоны выпустил поддельную Вторую часть походов славного рыцаря, что дало повод к порке этого арагонца в подлинной книге.

Банальнейшая из истин: нужда давила гения. Неуклюже, едва не крича, с неловкой улыбкой голодного, обносившегося офицера его величества

выпрашивает он в послании графу Лемосскому денежную субсидию, посылая ему свои комедии, которые никто не хотел играть. Придумывает малоостроумную версию, будто китайский император просит Сервантеса прибыть в Китай и учить китайцев испанскому языку по «Дон Кихоту» — но что Сервантесу повелитель Небесной империи, когда сам граф помогает автору, высоко оценив католическое усердие Сааведры!

Если граф «клюнет» на сие послание, то однорукий поэт сумеет не хуже других носить атласный плащ, отделанный горностаем, а камни на рукояти его шпаги будут оценены толедскими ювелирами в стоимость целой округи.

Увы! Граф не спешил облагодетельствовать своего вассала. Однако как-то в подвыпитии граф довольно громко произнес, что если Вторая часть книги будет так же хороша, как Первая, то автора следует сделать кавалером ордена Сант-Яго, чего музы еще не удоставались.

Услужливые переносчики вестей намекнули автору, что неплохо бы влить в жилы Дон Кихота знатной крови, а Дульцинею расколдовать как даму из рода королев—орден стоит этого! К сожалению или к счастью, автор уже не распоряжался своими героями...

В замке графа Лемосского две недели шли пиры, турниры и представления по случаю дня рождения инфанта. В перерывах между играми и увеселениями Сервантес, одетый гораздо беднее того, что заслуживал, читал знатым гостям заключительные главы книги.

В этот вечер с гор подуло сыростью, и гости перешли в подогретый жаровнями зал.

Зажжены свечи. Сверкают драгоценности на дворянских одеждах и оружии. Ослепительно белы воротники из голландских кружев. Запах кожи, вина, французского бархата. Звон арабской стали и бриллиантов, конфискованных у морисков.

На груди одного рыцаря ржавая цепь — память плена. Другой носит на перевязи радужную гудящую раковину — знак посещения далеких окраин империи в Тихом океане.

На автора смотрят добродушно и сыто, предвкушая новые приключения долговязого идальго, спятившего с ума, но лишь в одном вопросе: благородстве и неустрашимости верного дамам рыцарства. Во всех остальных вопросах: юрисдикции, экономики или литературы — все равно он оставался не только здравомыслящим, но представлял незаурядным философом, за которым нетрудно угадать самого автора.

Так оно и было—оглушительный хохот слушателей постоянно прерывал чтение. Автору уже намекнули, что многие благодарные слушатели горят намерением—сразу же после чтения забросать его своей признательностью, на случай которой уже припасены кошельки из тюленьей кожи с золотыми марками.

Другие с нетерпением ожидали конца, чтобы перейти к ужину,— стало известно, что зажарен вепрь из андалузских лесов и привезено кино из Африки. Ну, а потом, как водится у благородных рыцарей, удалиться с дамами в покои потемней и поукромней.

Последняя глава — о прозрении Дон Кихота, отречении от рыцарских бреден и его смерти.

Постепенно смех прекратился. В тишине потрескивали свечи, слышался глуховатый голос автора. Чувствуя, что порвана какая-то связь между ним и слушателями, Сервантес торопился.

Дочитаны последние слова. Он поднял голову.

На лицах нет и следа смеха. Не алмазы блещут на шпагах и волосах — слезы на глазах дам и кавальере. Плакал не только Санчо Панса при кончине своего хозяина. Слушатели, которые отчаянно хохотали в продолжение всей книги, внезапно заметили, что уже не смеются, а рыдают.

Забыли о приготовленных автору кошельках, ужине, ночи наслаждений—столь мелким все это показалось в свете

необыкновенного конца приключений лучшего из испанцев, который «воистину и вправду лежит в могиле, вытянувшись во весь рост» и «не способен уже совершить третий выезд и новый поход».

Наконец синьор Трухильо Навага де Перес с трудом сказал:

— Ей-богу, я с утра отправлюсь странствовать по свету, утверждая честь короля, защищая обиженных, вдов и сирот, сокрушая чудовищ и тиранов!

— Поистине Дон Кихот затмил славу Амадиса Гальского — Рыцаря Пламенного Меча!

— И Ринальда Монтальванского!

— Всех—всех двенадцать пэров Франции вместе с Карлом Великим!

— И Пальмерина Английского!

— Всех—всех рыцарей Круглого Стола короля Артура, превратившегося после смерти в ворона!

— И Сида Руя Диаса!

— Посрамлена королева Джиневра, ибо Дульсинея Тобосская удостоилась любви более пламенного сердца!

— Это подлинный рыцарь Духа, да не оставит его святая наша римско-католическая церковь!

— Слава всевышнему, рыцарство не умерло!

— Да здравствует любовь и битвы с великанами, в какие бы наряды они ни ряздились — в мельничные или бычьи.

Вепрь был испорчен. Вино показало прокисшим. Пародии на рыцарские романы не получилось. Был создан новый рыцарский роман—о трагедии благородства, чести, справедливости. Смех утратил свои жирные пурпурные тона и, скатываясь по лицам, обратился в прозрачные драгоценности слез.

Ни прозрения, ни отречения от рыцарства, словом, выздоровления Дон Кихота слушатели не приняли—главным осталось благородное безумство рыцаря, умнейшее из безумств.

Даже самые надменные и спесивые кавальеро почувствовали душу прекраснейшего из людей. И как он ни осмеян, ни ошельмован—это подлинный Рыцарь Человечества.

Теперь никто не сомневался, что рыцари с их необыкновенными подвигами должны быть и участь их лучшая среди всех. Напрасно Сааведра намеревался высмеять, и довольно зло, рыцарство—кто как не рыцари встанут на защиту правды и жизни!

Отрезая побольше от ноги вепря и не отпуская далеко серебряный кувшин с вином, Сааведра доволен слушателями—он и сам на стороне героя.

Возвращаясь поздно ночью из графского замка, тощий всадник на костлявой лошади стучал копытами по испанской земле. Упираясь головой в звездную вечность, горько улыбался новому поражению, битве с призраками.

Подлинное имя всадника с годами стало известно—всадник этот не кто иной, как Дон Мигель де Сервантес Сааведра.

Скачет всадник в третий, ненаписанный поход—его допишет всемирная литература: отныне в каждой настоящей книге будет зримо или незримо присутствовать душа Дон Кихота. Камни Испании, что разбрызгивает конь всадника по всей земле, превратятся в изумруды в руках мастеров.

Подъезжая к дому, Сервантес подумал, что написание романа явилось самым донкихотским поступком его жизни, эссенцией донкихотизма, — и решено: с утра он займет вакантное место государственного скупщика зерна.

Его покровители—герцог и граф смеялись до упаду при чтении книги. Несмотря на тупость первого и заносчивость второго, оба помрачнели при конце, будучи на стороне поверженного ничком Рыцаря.

Автор сполна получил уже свой гонорар, написав такую книгу. Однако граф всемилостивейше и оригинальнейше повелел... возвести автора в рыцарский сан, пожаловав ему шпагу, камзол и дряхлого коня.

Графу напомнили, что автор уже дворянин и что его можно сделать кавалером ордена Сант-Яго, — последнего граф не понял и отвернулся. Да, он, помнится, говорил о кавалерстве

Сервантеса, но ведь герой книги, лучший из людей, неродовит. Более того, лучший из людей оказывается всего-навсего сумасшедшим, больным. А как же быть с остальными, нормальными людьми? Может быть, лучшие люди сидят в сумасшедших домах? Вот если бы Сервантес с таким же блеском воспел испанских грандов! К тому же кавалер ордена Сант-Яго должен иметь древнюю фамилию и не зарабатывать на хлеб собственными руками, кроме одного, разрешаемого дворянам ремесла, — делать птичьи клетки.

Но в добавление было велено выдать оному сочинителю восемь золотых венецианских цехинов полновесной чеканки и двенадцать испанских реалов старого серебра, мало способных заштопать дырявый бюджет рыцаря Сааведры. С ним расплатились так, как хозяин постоянного двора кормил Дон Кихота треской, уверяя, что это форель. Но ведь и сам Дон Кихот считал постоянный двор великолепным замком!

На что употребил денежки автор, нам неизвестно, а шпага, камзол и конь Рыцаря Справедливости готовы служить каждому во все времена—будь то времена ветряных или атомных мельниц.